



Веселая жизнь,  
или Секс в СССР



# Часть первая

## Канувший в Лету

### 1. Время, назад!

#### *Пролог*

Надоело ворошить архивы,  
Соблюдать диету и режим.  
«Девушка, постойте, вы красивы!  
Погуляем, выпьем, согрешим...»

А.

Становлюсь ретроманом и все больше люблю прошлое. Видно, дело идет к старости, но сердце еще екает при виде весенних девушек с голыми ногами. Я давно собирался написать о нашей веселой молодости, совпавшей с советским «застоем», но все как-то медлил, колебался, откладывал, и эта хроника восьмидесятых, а точнее ретророман, родилась почти случайно. Дело было так. После бурного празднования моего 60-летия я был засахарен величальной патоккой и ослаблен алкоголем. Печень напирала на ребра, будто НАТО на границы России. Мозг изнемог в юбилейной суете, и выдавить из него малейшую мысль было так же трудно, как зубную пасту из пустого тюбика. Новая пьеса, обещанная Татьяне Дорониной, застряла на ремарке: «Позднее утро. Особняк на Рублевке. В инвалидном кресле дремлет могучий старик со звездой Героя Социалистического Труда на отвороте пижамы...»

Я затворился на даче в Переделкино, перешел на иванчай, вставил в проигрыватель диск из комплекта «Весь Моцарт» и предпринял то, что давно замышлял, но постоянно откладывал, — генеральную ревизию моего литера-

турного архива. Сложенный в коробки, он хранился в гараже с тех пор, когда мы в 2001 году переехали с Хорошевского шоссе на ПМЖ за Окружную дорогу в городок писателей и поселились в новом доме — напротив музея Окуджавы. Иногда «булатоманы» по ошибке стучались в наши ворота, требуя показать им главную реликвию мемориала — окаменевший «бычок», не докуренный великим бардом. Но мы тепло посылали их на противоположную сторону улицы Довженко.

Разбирая слежавшиеся пожелтелые рукописи, машинописные странички и вырезки из периодики, вдыхая щекотливый аромат стареющей бумаги, я обнаружил много интересного, но об этом как-нибудь в другой раз. Однако несколько находок имело прямое отношение к роману, который вы уже начали читать. Сначала на дне картонной коробки я нашел слепой экземпляр протокола, он начинался словами: «Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии парткома Московской писательской организации СП РСФСР по персональному делу члена КПСС Ковригина А. В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом «Крамольных рассказов» вышеупомянутого автора, пришли к следующему решению...» Глянув на последнюю страницу, я вздрогнул: первым в перечне подписантов стояло мое имя, а сбоку — подпись. Тоже моя. Синяя паста чуть выцвела, став голубой.

...И весь тот шумный литературный скандал начала 1980-х, оставшийся, кстати, неведомым широкой публике, пронесся передо мной в мельчайших деталях, как первая брачная ночь в памяти умирающего однолюба. Отложив протокол, я дал себе слово как-нибудь записать случившееся хотя бы для истории словесности. Несправедливо! О том, как Довлатов с похмелья шлялся в банном халате то ли по Бродвею, то ли по Брайтон-Бич, профессора рассказывают студентам на лекциях и защищают диссертации, а про то, как вождя «деревенской прозы», лидера «партии русистов» в советской литературе Ковригина выгоняли из партии, — ни гугу. Не просто быть русским в России. Ох непросто!

В другой коробке я наткнулся на театральную программку спектакля «Да здравствует королева!» в Театре имени М. На обороте шариковой ручкой был написан телефон, начинавшийся с цифр «144». Значит, это где-то в районе Кунцева. Я раскрыл буклет — так и есть: роль первой камеристки исполняла Виолетта Гаврилова, о чем свидетельствовал еле видный карандашный штришок напротив фамилии актрисы. Лета, боже мой, Лета, последняя звезда советского кино! Ветреная Лета... Я пережил странное ощущение, будто открыл заклеенную на зиму балконную дверь и попал в май, полный птичьих песен и цветущих ароматов. Былое встало перед глазами, как... Жаль, сравнение с первой брачной ночью однолюба уже использовано в предыдущем абзаце! Вздохнув, я положил программку поверх протокола. Зачем? Не знаю. Писать прозу о давней, почти забытой страсти в мои планы не входило. Поздно и небезопасно: жены писателей воспринимают наши самые отдаленные увлечения как преступления, не имеющие срока давности.

Далее в коробке обнаружилась сложенная гармошкой широкая бумажная лента от советской ЭВМ. На титуле старинным игольчатым принтером было напечатано: «БЭК, биоэнергетический календарь. 1983–2000». Я открыл складень, и оттуда выпал мятый машинописный листок, в который некогда заворачивали что-то копченое или вяленое. Скользя глазами по тексту, я понял: это знаменитый «Невероятный разговор» — рассказ, вызвавший когда-то бурю в Кремле и обрушивший кары на голову Ковригина. Мне, кстати, тоже досталось на орехи. Пробежав глазами крамольную страничку, я развернул БЭК и сразу заметил дату — 5 октября 1983 года, обведенную красным кружком. Что за чудо человеческая память! В тот же миг предо мной возникли: пенал переделкинского номера, утренний сумрак и женщина, спящая в моей постели, я долго смотрел на заснеженный куст жасмина в окне, вглядываясь в былое, а потом положил распечатку вместе со страничкой «Кра-

мольных рассказов» поверх театральной программки протокола.

О пятой находке в моем архиве стоит сказать особо, это была прозрачная папка со стихами, которые я не без колебаний решил использовать как эпитафии к главам моего ретроромана. Впрочем, пролог явно затянулся, поэтому про стихи, неведомо кем сочиненные, dokonчу как-нибудь потом. А сейчас, возлюбленный читатель, скорее туда, в золотую советскую осень 1983 года! Время, назад!

## 2. Вас вызывают...

Вы пробуждались поутру,  
Свое не помня отчество,  
Когда весь мир не по нутру  
И только пива хочется?

А.

Утром меня разбудила жена. С трудом вырвавшись из мутного и душного сна, я очнулся в тяжком похмелье. Казалось, внутри меня умер и уже начал разлагаться близкий человек. Нина держала в руке наш омерзительно зеленый телефон на длинном проводе и гадливо протягивала трубку. Лицо ее выражало вечное непощение, а также боль за мой гибнущий талант. Однако к обычной гримасе презрения примешивалась еще и некая посторонняя тревога.

«Наверное, Лета? — подумал я с радостным неудовольствием. — Хочет извиниться за вчерашнее. Но домой-то зачем звонить? Теперь неделю буду отвираться! У Нинки нюх, как у сеттера...»

— Тебя.

— Кто?

— Из горкома! — одними губами предупредила жена.

Умерший человек ожил и выпростал из-под одеяла руку, показавшуюся мне хрупкой, как зимняя веточка.

— Алло! — прохрипел я в мембрану.

Объясню тем, кто не жил при советской власти или сохранил о ней бессознательно-детские воспоминания. Для члена КПСС звонок из горкома означал тогда примерно то же самое, что для честного и потому незащитного предпринимателя означает сегодня звонок из прокуратуры.

— Жоржик, ты не здоров? — послышался участливый голос парторга МГК КПСС в Московской писательской организации Папикяна-Лялина.

Под первой фамилией он публиковал свои милые исторические повести для подростков, а вторая была начертана на табличке его кабинета. Почему именно так, а не наоборот, никто не знал.

— Здоров, Николай Геворгиевич, простыл немного, — объяснил я подозрительную хрипоту и совершил роковую ошибку, приведшую к серьезным последствиям не только для меня самого, но и для всей мировой литературы.

Скажись я больным, а тогда по Москве бродил летальный грипп, и, возможно, тяжелое испытание прошло бы мимо. В партии трепетно относились к здоровью друг друга. Имея на руках синий бюллетень, можно было смело не идти в «последний и решительный бой». А к немалым отпускным деньгам ответственным работникам выдавали еще и так называемые лечебные, равнявшиеся месячному окладу. Возможно, традиция сложилась в 1920–30-е годы, когда коммунисты, «вытаскивая республику из грязи», вкалывали на разрыв аорты, не щадя себя, и сердца лопались в клочья даже у молодежи. Вспомните того же Павку Корчагина, который застыл в параличе, будучи совсем молодым мужчиной. Ему полностью отказали все члены, кроме одного, отличавшегося до последнего дня комсомольской нестигаемостью, чем беспрестанно утешалась верная жена, пока не стала вдовой. Про сей тайный исторический факт любил рассказывать после рюмки коньяка Гриша Красный — старейший советский писатель.

— Значит, не болеешь? — продолжал нежно пытаться парторг.



— Нет. Пустяки.

— Вот и хорошо! Ты бы, Жорж, — ласково попросил Лялин, — зашел к нам. Соскучились мы по тебе...

— Когда? — хрипло уточнил я, чувствуя, как сердце колотится в горле.

— А как сможешь. Да хоть и сегодня...

— Хорошо. Постараюсь.

— Постарайся. В четырнадцать ноль-ноль. Не опаздывай, дружок! — душевно предупредил Папикян и запел по телефону мучительным полубасом: «Настал, настал урочный ча-ас, о златокудрый воин на-аш!»

В переводе с аппаратного языка на общепринятый это означало: коммунист Полуяков, вас срочно вызывают в горком партии по неотложному делу. Явка обязательна, опоздание недопустимо!

— Буду, — ответил я, сокрушаясь, что не сказался больным, и вернул жене трубку.

— Ну? — спросила с тревогой она.

— Баранки гну!

— У тебя глаза пьяные.

— Надену дымчатые очки. Бульон есть?

— Есть.

— Разогревай!

Запершись в ванной для реанимационных процедур, похожих на чудо воскрешения Лазаря, я мучительно сообщал, что же мог означать внезапный вызов. Имелось сразу две версии. Первая, самая вероятная. В «Стописе», который я возглавлял третий год, прошла ошибка, возможно, политическая. Поясню: «Столичный писатель» — обычная 4-полосная многотиражка половинного формата «Правды» — на вид не отличалась от таких же «боевых листков», выходивших на каждом крупном предприятии, в вузах и воинских соединениях. Но наша газета предназначалась московским писателям, а к бойцам идеологического фронта было отношение особое: «Стопис» внимательно читали в горкоме и даже в ЦК. Полгода назад мы прошляпили жут-

кий ляп, напечатали безобидное, на первый взгляд, стихотворение поэта Феликса Чунина:

*Стою на площади вокзальной.  
Тяжелый на плече рюкзак.  
Ах, не смотри же так печально!  
Любимая, ну что не так?  
Иль ты, наверное, забыла,  
Насколько широка страна?  
Жизнь без дорог — почти могила.  
И вновь неведомая сила  
Вдаль позвала. Не плачь, жена!*

Меня вызвали на Китайгородский проезд и намылили шею, потом еще в горькоме добавили. За что? А вы прочитайте первые буквы строчек по вертикали, и выйдет: «Сталин жив». Поняли? Называется «акростих».

Вторая возможная причина вызова была еще хуже. Моя повесть «Дембель-77», отвергнутая всеми журналами, застряла в кабинетах ГЛАВПУРа и военной цензуры. Возможно, они переслали рукопись в МГК и попросили провести со мной профилактическую беседу. Ха-ха! В горькоме два года лежит и сохнет другая моя непроходная вещь — «Райком». Острая. Ехидная. Про комсомол. Как говорится, испугали ежа зубной щеткой! Воспитательных бесед я вынес уже много:

— Георгий Михайлович, вот вы хороший автор и к тому же молодой коммунист, а написали такое...

— Я написал правду.

— А вы подумали, как эта правда скажется на оборонной мощи страны?

— Правда навредить не может!

— Вы уверены?

— Абсолютно. Партия требует от писателей честно отражать жизнь. В докладе на последнем съезде...

— М-да, подкованный вы товарищ. Но правда разная бывает...

— Правда — одна! Или вы считаете, что и у империалистов тоже есть своя правда?

Когда я кидал эту коронную фразу, обитатель высокого кабинета обычно взглядывал на меня как на яйцо, которое, едва вывалившись из гузна, учит мамашу промышленному птицеводству.

— До свидания, правдолюб! Свободны. Пока...

После таких бесед я страшно гордился собой, не подозревая, что писательской правдой можно отравить читателя до смерти. Прости, прости меня, безвременно погибший великий Советский Союз! В твоём разрубленном на куски теле есть капля и моего литературного яда. Но тогда, утром 27 сентября 1983 года, изучая в зеркале свое опухшее лицо, я ни о чем таком не подозревал и даже придумал еще один разительный аргумент, чтобы бросить его в лицо запретителям при новой встрече: «Правда лечит, а ложь калечит!» Сильно, да?

Бульон не пошел, жена предложила налить его в термос и взять с собой, но я обругал заботливую женщину грубыми словами:

— С термосом — в горком? Нина, ты совсем дура?

— Пожуй мускатный орех, пьянь! — обиженно посоветовала она.

— Не учи ученого! — огрызнулся я. — Ты чего не на работе?

— Библиотечный день. Хочу постирать. Заберешь из сада Алену?

— Сегодня никак.

— Значит, опять поздно явишься? — Она пристально посмотрела мне в глаза.

Женщины заранее чувствуют даже едва наметившуюся измену, как домашние питомцы приближающееся землетрясение.

— Не знаю... — буркнул я, отметив, что Нинины поблекшие волосы неряшливо прихвачены аптечной резинкой.

— Ну зачем ты так вчера напился, Гош? — примирительно спросила она.

— Так вышло...

### 3. Мимо храма

О, как мы пели, пили и любили,  
Оцепенев от лени золотой!  
История, куда ты скачешь в мыле?  
Здесь хорошо. Пожалуйста, постой!

А.

А вышло так: сверхновая звезда советского кино Лета Гаврилова назначила мне свидание в саду имени Баумана и не пришла. Я ждал ее с терпеливым пониманием: у нее была деловая встреча неподалеку, на улице Гоголя, с худруком Театра имени Г., куда она хотела перейти из Театра имени М., измученная приставаниями главного режиссера Здобина, а у него — жена, дети, живот и трупный запах изо рта. Тогда еще не было мобильных телефонов, поэтому выяснить, в чем дело, я не мог и ходил под часами, как постовой. Впрочем, нет — мобильники уже появились. Один из них мне довелось таскать в армии по тревоге. Весил он под сорок килограммов и паковался в специальный рюкзак с широкими ватными ляжками. С этой тяжестью на спине надо было бежать изо всех сил: следом несли патронный ящик, которым жестоко таранили отстающих и замешкавшихся. С тех пор у меня паховая грыжа.

После часа ожиданий я из зловонной телефонной будки (уличные биотуалеты придумают через двадцать лет) позвонил Лете домой, но прокуренный старушечий голос ответил, что там «эту мерзавку не видели два дня».

— А вы кто? — спросил голос.

— Я из райкома.

— Что она опять натворила?

— Ничего.

— Странно. Передам, что вы звонили, если появится. Как вас, кстати, величать?

— Василий, — соврал я, воспользовавшись именем беглого писателя Ваксенова, чей запретный «Остров Крым» ходил по рукам в ксероксе.